

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Нижний Новгород», «Урал» и других. Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия» и принес автору Премию правительства РФ (2012). В 2015 году за роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга», в 2017-м – премии «Писатель XXI века» в номинации «Проза» (за книгу «Постоянное напряжение»).

Живет в Санкт-Петербурге.

ЗА ЗАВТРАКОМ

Фрагмент книги-очерка «Поминки»

На обеденном столе пакет с продуктами. Мясо, рыба, хлеб, колбаса, сметана. Купил в Торговом центре. Вернее, это рынок рядом с продуктовым магазином, но по привычке его, рынок, называют Торговым центром или Торгушкой. В девяностые торговые центры такими и были – какой-нибудь универмаг или универсам, а вокруг киоски, ларьки, прилавки, ящики с товаром...

Я много писал о нем в своих вещах, где действие происходит в Минусинске. Ну как не писать, если с лета девяносто четвертого наша семья торговала там плодами труда на огороде. Только в самые последние годы перестали ездить – викторию, помидоры (остальное сажали уже только для себя) стали продавать на месте. Дешевле, конечно, но не надо собираться, трястись в автобусе, иногда стоя, искать свободное место за прилавком...

Было время, во дворе стояли три машины – «Москвич-2141», «Москвич-412 пикап» и грузовой ГАЗ. В девяностые, которые я так часто поминаю, лучшим вложением денег нам казались автомобили. Ну и нужны они были, особенно здесь, в деревне. На «сорок первом» ездили в город, на пикапе или грузовике – в лес, за перегноем, за бутовым камнем, за глиной. Были заказы от местных; раза два на ГАЗе отец отвозил покойников на кладбище.

В деревне осталась эта традиция – везти гроб в кузове с откиннутыми бортами. Возле гроба ближайшая родня, девочка или мальчик кидает пихтовые или еловые лапки на дорогу, за грузовиком идут соседи, друзья,

следом катятся автомобили. Сначала свои, а потом и чужие – обгонять похороны не принято...

Наша четырехэтажка в Кызыле была на центральной улице, и часто по ней двигались подобные процессии. Бывало, с оркестром. Трубы, кларнеты драли душу «Похоронным маршем». Иногда кто-нибудь из музыкантов фальшивил или пускал петуха, и от этого становилось еще... Хочется сказать «страшнее», но нет, не страшнее. Страха не помню, была торжественность, что ли, сопричастность к прощанию навсегда. И эти петухи странным образом подчеркивали сопричастность

Мы, дети, подростки, отвлекались от своих игр во дворе. Замирали, смотрели на грузовик, на красный гроб, на идущих за грузовиком музыкантов с желтыми блестящими инструментами, с большим барабаном, на темных людей с опущенными головами... И взрослые тоже останавливались, на полминуты, на минуту переставали спешить по делам.

Потом так стали провожать только известных, уважаемых в городе людей, а потом и вовсе пресекли эту традицию. Или сама пресеклась. Простых грузили из морга, реже из домов (если родственники решали устроить там прощание) в «пазики» или микроавтобусы, непростых – из Дома политпросвещения, где был траурный зал, и везли на тоскливое, посреди каменистой степи, кызылское кладбище.

И так, я видел, происходило повсюду, кроме, может, каких-то деревень. Особенно незаметен последний путь в больших городах. Проедет автомобиль с надписью «Ритуал», и даже не сразу поймешь, что он там возит. Дети больше не прекращали игр, взрослые не останавливались.

Во время пандемии и попрощаться не разрешали. Поначалу. Потом стали допускать к гробу самых близких. А в последние месяцы похороны снова стали многолюдными, с речами над могилой, а то и с залпами из автоматов.

Такие похороны я видел в прошлый приезд – шестого мая в соседнем селе, в Знаменке.

А холодильник-то включить забыл! Это надо было сделать в первую очередь, еще до огорода.

Подхожу к счетчику, поднимаю рычажок. Щелк. И холодильник тут же оживает, начинает тарыхтеть. Хорошо. Раздвигаю шторы, и кухня-комната сразу оживает. Становится уютно.

На подоконнике оставленные газеты. Верхняя густо пожелтела, вздулась. Убираю – вполне может нагреться в особенно солнечный день так, что загорится. Тем более окно на южную сторону.

Провожу ладонью по клеенке на столе. Ладонь чистая. Пыли нет совсем. Удивительно. Обычно каждый день появлялась.

У меня привычка – садясь за стол, обеденный или письменный, проводить по нему ладонью. И почти всегда бывает пыль. Когда сдуваю ее, когда протираю столешницу влажной салфеткой. Раза два в неделю протираю и книжные полки в своем кабинете, принтер, ноутбук, глобус-бар, который подарила мне жена на позапрошлый день рождения. Да и на кухне – этой или той, в Екатеринбурге, – тоже.

Борьба с пылью становится для меня какой-то манией. Раньше я пыль и не очень-то замечал, а сейчас хочу заметить, вернее, ожидаю увидеть, чтобы начать небольшую уборку в родительском доме, но не вижу.

Впрочем, ничего удивительного. Где-то вычитал, что пыль – это в основном крошечные кусочки нашей кожи, волокон ткани, волосы, остатки пищи... Если в доме нет людей, никто не готовит и не ест,

не курит, не трясет одеждой; если окна и двери плотно закрыты, если нет насекомых, мышей, то пыли и неоткуда взяться... Космическая, хм, наверно, просачивается, но за полтора месяца ее скопилось маловато – не почувствовать на ладони...

Да, в домике чистота и порядок. Не знаю, убого выглядит обстановка или нет – я к ней привык. Даже к наклейкам от колбасы, которые мама зачем-то переклеивала на холодильник, на обои, даже вон на серванте одна есть. Может, прятала под ними царапины и пятна, а может, хотела большей пестроты, яркости. Отрывать эти липкие этикетки «Дымов» «Залихватский расколбас», «Сервелат фирменный» не решаюсь – чувства, что родителей здесь уже никогда не будет, нет. Вот сейчас я стою посреди кухни, а они словно на огороде, во дворе. И вот-вот вернуться.

И я всерьез начинаю их ожидать. Дождусь, покажу, какую замечательную баранину привез, пелядь, расскажу, что у жены беременность протекает хорошо, что заключил с издательством договор на новую книгу...

Нет, никто не идет. Тишина, лишь тикает будильник на серванте. Так же он тикал в октябре, когда я приехал ухаживать за родителями, и в ноябре, когда сидели за этим столом мама, моя жена и я, перед тем как ехать в город хоронить отца. И в феврале тикали, когда я вернулся сюда с похорон мамы, и в мае, когда жил здесь несколько дней, мотаясь то в сельсовет в Знаменке, то в город, собирая документы, чтоб подать на наследство.

Так же тикал будильник многие дни и ночи, когда здесь никого не было. Тикал, тикал, тикал в полном одиночестве.

Еще в феврале я хотел вынуть батарейку, но не стал – без этого тик, тик, тик, кажется, умрет и сам дом. Оставил. Решил: батарейка сядет, и будильник остановится сам. Без моего вмешательства.

Днем я почти не замечаю тиканья, а на ночь убираю будильник под матрас на диване.

Так, надо переодеться, поесть и за работу. Первым делом – забор. Когда проезжали с Леной мимо него, увидел: один столбик повалился, другой накренился под тяжестью пролета. Вот-вот, если не поменять, весь пролет ляжет, а может, утащит и два соседних с обеих сторон.

Еще весной понимал, что нужен ремонт, но в начале мая земля не оттаяла на глубине, пришлось бы раздалбливать лунки ломом. Адов труд. Решил отложить. А сейчас деваться некуда.

Вообще забор – это второе после травы бесконечное дело. Лес у нас здесь сосновый, а сосновые столбики долго не держатся, да и почва – песок. В нем дерево за пяток лет превращается в труху.

Соседских участков, примыкающих к нашему, нет, поэтому с трех сторон забор только наш, в улицу и закоулки, а с четвертой – пруд. И когда потихоньку, всегда между другими занятиями, более неотложными, заканчиваешь обновлять столбики, слези, доски, там, откуда начал, уже нужно ремонтировать снова.

Заборные доски нынче хлипкие, в тех местах, где их прибиваешь к слегам, быстро становятся пористыми, какими-то пенопластовыми, и достаточно потянуть на себя, чтобы или сломать, или сдернуть с гвоздей.

Читал: деревья растут быстрее, поэтому не успевают набраться плотности. Это интересная гипотеза. Всё делается быстрее – фильмы быстрее снимаются, книги быстрее пишутся, куры быстрее растут, и вот даже деревья...

Конечно, можно заказать столбики стальные, забетонировать, да и вообще профлистом отгородиться от остального мира, хотя это уродливо выглядит. Но мне нравилось возиться с забором, это был некий ритуал, что ли. Как поступать теперь – не знаю. Приезжать наверняка буду реже и короче. Когда маленький ребенок – много не поездишь, надолго не отлучишься.

Да и нет у меня большого желания куда-либо ездить. Наездился. Раньше гнала сюда необходимость поддержать родителей, помочь им. А теперь родителей нет...

За что я благодарен литературе. Или литературному процессу, или как это назвать... В общем, то, что происходит после написания книг и их издания. Благодарен, что побывал во многих городах России, да и по миру покатался.

С две тысячи второго года до девятнадцатого ездил, ездил, ездил. Девятнадцатый вообще получился кочевым. Я даже мысленно попросил ту силу, что выстраивает сюжеты человеческих жизней, чтобы это кочевание притормозилось. Следующий год стал пандемийным, поездки почти не случались, и я этому радовался. Больше писалось, читалось.

А теперь путь в Европу мне и большинству мне подобных литераторов, оставшихся в России, кажется, заказан. Если не навсегда, то надолго.

Доходят намёки: нужно уезжать отсюда, сделав громкое заявление, тогда там ты можешь стать если и не своим, то не таким замаранным. Может быть, и книги продолжают переводить и издавать. А если ты здесь, тебя воспринимают как соучастника...

Мама не разрешала покупать электрочайник – боялась, что проводка не выдержит. Кипятили воду по старинке в чайнике на плите.

Когда я приехал на мамины похороны... Вернее, ехал ухаживать за ней, но по дороге из абаканского аэропорта в Минусинск узнал, что мама умерла... Да, приехал сюда... Опять же, не сам приехал, а Лена привезла. (Если стараешься сказать, как было на самом деле, складно не получается.) Да, Лена привезла, мы поискали одежду, в которой похоронить маму, смертное не нашли, хотя она когда-то, давно, говорила, что приготовила. Что-то выбрали – я плохо соображал, но Лена сказала: подойдет. Уговаривала поехать с ней, у нее переночевать. Боялась, наверное, меня здесь одного оставлять, в холодной осиротевшей избе. Я отказался – действительно хотел побыть один эти двое суток до похорон. А может, боялся участия в похоронных сборах, боялся каждую минуту помнить, что мамы нет.

Здесь была знакомая, родная почти обстановка, Чичи, которую надо кормить, печка, которую необходимо топить. Очистить от снега дорожки к калитке, к туалету, к поленнице. Дела были, а дела спасают от мыслей...

Лена, уехала, я сходил к колодцу, хотел налить воды в чайник, но в нем оказалась пахучая густая жижа. Видимо, мама лечилась какой-то травой. Вылил, помыл чайник, но запах не уходил. С тех пор стал кипятить воду в кастрюле.

В мае, да и сейчас хотел купить новый чайник, и останавливал себя – зачем? Неделю, две можно и так. Если когда приеду надолго – куплю... Да, новые вещи, посуда здесь в ближайшее время вряд ли появятся.

Нет, нужна по крайней мере лопата. Обязательно! Штыковая, но не с заостренным концом, а плоским. Не знаю, как она правильно называется. Садовая, огородная? У нас тут перебивало много лопат, но все

оказывались из плохой стали, невозможно копать. Одна лишь, привезенная из Кызыла, служила надежно, правда, сточилась за эти тридцать лет до самой тулейки... А новую надо после покупки не забыть наточить – на Торгушке есть будка, где затачивают инструменты. Столбики ошкуривать... Да, столбики заказать...

У мамы в телефоне записаны номера тех, к кому можно обратиться, если что. Перед тем как второй раз лечь в больницу, в декабре, она долго инструктировала меня, кто чем может помочь, что у кого можно купить, кому летом можно предложить для продажи ягоду. Будто знала. Да чувствовала, конечно...

«Костя дрова привозит и столбики... У Тани молоко покупаем... У Жени – яйца...»

После завтрака позвоню Косте, поговорю насчет столбиков. Ошкурить, пока свежие, какие вкопать, остальные пусть лежат на всякий случай. На будущее.

Завтракаю тем, что больше всего любил есть подростком. Вареная колбаса с белым хлебом и чай. Правда, раньше в чай добавлял молоко и сахар. Подслащивать чай давно перестал, и с молоком как-то теперь невкусно. Может, чай другой.

Ну да, раньше был в основном грузинский. Без сахара пить было трудно – язык деревенел.

Бывая на родине, я заказываю в кафешках или ресторанчиках хан-чай. Его и в пакетиках продают, как кофе «3 в 1».

Мама, помню, часто его варила, когда жили в Кызыле. Не по всем правилам – даже не во всех ресторанах эти правила соблюдают, мало кто отважится пить чай с пленкой жира, – но тем не менее этот элемент тувинской кухни наряду с бараниной прижился в нашей семье.

Правда, может, и не во вкусоности хан-чая было дело, а потому, что другого, лучшего, почти не бывало. Грузинский мало чем отличался от этого плиточного, из которого делают хан-чай, да и с тем были перебои. Чай «Три слона» считался уже дефицитом, а о другом мы только слышали. Чтобы сбить горечь плиточного или грузинского, приходилось добавлять молоко, соль или сахар...

По сути, соленый чай с молоком до восьмидесят девятого года был основной приметой того, что мы живем в национальной республике Автономной республике в составе РСФСР. Впрочем, и РСФСР – нынешняя Российская Федерация – редко возникала в разговорах, в телевизоре, радио. Жили в Советском Союзе – этого понимания, казалось, было тогда достаточно.

В Кызыле построили огромное для города в семьдесят тысяч жителей здание музыкально-драматического театра. Были тувинская и русская труппы. И там и там спектакли по классике или по современным произведениям о советских людях. Не о тувинских и не о русских, а о советских. Единственным на моей памяти исключением стал спектакль по книге местного писателя Анатолия Емельянова «От мира не уйти», где действие происходит в Туве – в верховьях Малого Енисея. Там жили староверы, и актеры изображали, какая дремучая, беспросветная, страшная у них жизнь.

Позже, году в девяносто первом или втором, у Емельянова вышла книга «Староверы», где об этих людях было написано с откровенной симпатией, даже с некоторой завистью, что вот держатся своей веры из поколения в поколение, не предадут, и себя он, коммунист, сравнивал

со староверами: тоже не предаёт дело коммунистической партии... Он, кажется, тогда и умер, сразу после распада СССР и запрета КПСС. Скорее всего, «Староверы» вышли посмертно. (Где-то у нас эта книга была, но искать сейчас бесполезно – часть библиотеки с переезда находится в чулане – в избу всё не влезло.)

Были ещё такие спектакли: забытые царским режимом и местными нойонами араты страдают и мучаются, и вот происходит революция, и они с помощью русских ссыльных сбрасывают оковы рабства...

В Туве было местное издательство. Выходили книги на тувинском и русском языках, в том числе и переводы с тувинского на русский и наоборот. Несколько переведённых с тувинского я прочитал. Основная тема опять же: раньше, во времена нойонов, баев, царского правительства (хотя будущая Тува официально не входила в состав Российской империи, была у неё под протекторатом) простым тувинцам плохо жилось, а после революции стало жить хорошо.

То, что Тува до сорок четвертого года была независимым (ну почти, из тех, какие теперь называют «частично признанные») государством, публично почти не упоминали. В городе был – и есть – стадион «5 лет Советской Тувы», построенный к этой дате вхождения республики в братскую семью народов, но название с событием, кажется, мало кто ассоциировал, да и название в народе у стадиона было другое – «Пятилетка».

Была – наверняка есть и сейчас – филармония. Часто в ней проходили концерты симфонического оркестра, а выступления, например, ансамбля песни и танца «Саяны» случались изредка – их предпочитали возить по Союзу и зарубежью; если и можно было услышать песни на тувинском языке, то в сопровождении баяна и рояля. Народные инструменты считались пережитком прошлого, экзотикой, которую стоит демонстрировать подальше от самой Тувы.

В общем, не поощрялась национальная культура. Ни тувинская, ни русская. Хотя русская всё равно пробивалась – в основном через литературу прошлых веков. Ну куда было деть, например, православие, если им пропитаны многие произведения русских классиков, обязательных для прочтения и в школе, и в вузе? А ламаизм, шаманизм дели – заключили в музейные витрины, а из реальной жизни вытравили.

Православная церквушка на окраине Кызыла была и в самые атеистические времена, а вот хурээ или легального шамана – ни одного. Как там у Шукшина: «Как вы относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?.. Можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету».

Ну да, ну да, сделали вид, что нету. А проблема была, память о шаманах, о ламах сохранялась, обида, что не дают камлать, не дают славить Будду, тлела. И потом вспыхнула пожаром.

В октябре, когда маму положили в больницу, а отец почти не поднимался с дивана, я ел не за обеденным столом, а за письменным в комнате. И смотрел телевизор.

Но сейчас завтракаю на кухне, телевизор выключен – боюсь залипнуть.

Почему-то в деревне очень тянет его смотреть. Может, из-за отсутствия бурной жизни вокруг. Тихо до звона в ушах, если не выходить за ограду, можно неделями не увидеть человека, да и если пройтись по улице, тоже не факт, что кого-нибудь встретишь; автомобили мимо нас

проезжают редко, поэтому необходимо хотя бы по радио услышать голоса людей, в телевизоре увидеть шевеление жизни. Особенно необходимо, наверное, тем, кто приехал сюда из большого города, где ощущаешь, слышишь это шевеление даже за герметичными стеклопакетами, задвинутыми шторами.

И местным надо чувствовать: за пределами их пары сотен избушек что-то есть. Если посмотреть на деревню в сумерках, то во многих окнах видишь синеватый свет. Люди смотрят телевизор.

Но, может, не только из-за телевизора большую часть времени, если находился в доме, я проводил не на кухне, а в комнате (где, конечно, включал телевизор). Комната, пусть немного, напоминает нашу квартиру в Кызыле. А именно – отцовский кабинет. Там стоял этот письменный стол, основательный, темно-коричневый, а две стены комнаты от пола до потолка, как и в кабинете, заслонены стеллажами с книгами.

Комната эта метров семь-восемь квадратных. Не помню, каким был кабинет – мне он казался огромным, хотя, думаю, не очень сильно превышал размером комнату. Но огромность ему предавали именно книги. Не сдавливали пространство, а расширяли. И всё там казалось надежным – и стеллажи, и стол, и диван, пусть узкий, зато тяжелый, кожаный, и шифоньер в углу, тот самый, что стоит сейчас на кухне, отделяя другой диван, из зала нашей кызылской квартиры, от закутка с рукомойником.

А где тот диван, из кабинета?..

Может, оставили, может, привезли и он не поместился в избушке, сгнил тихонько в сарае под другой не вместившейся мебелью. По сути, часть вещей так и осталась в коробках, мешках, ящиках – одни на чердаке, другие были во времянке, которая однажды выгорела изнутри, третьи в чулане, четвертые в сарае без стен и с давнополопавшимся шифером...

Мне нравилась наша квартира в Кызыле. Или стала нравиться после того, как мы переехали сюда, в крошечный домик? Нет, помню, как я спешил в нее после уроков, как ходил по комнатам, когда был один, представляя себя то этаким владельцем замка, то Фирсом из «Вишневого сада».

Первый этаж, сквер за окнами, три комнаты... Когда мы с сестрой подросли, сделалось тесновато, но вскоре отец освободил от себя кабинет, стал подолгу жить в опустевшей после переезда бабушки и деда избушке на окраине Кызыла, надо было охранять добро – наступали времена воровства, обнищания, а вернее, желания, какой-то прямо потребности разрушать, ломать. Недаром так часто тогда употребляли слово «пакостить», а потом – «беспредельничать». Многие парни ускоренно проходили путь из озорников в бандиты.

Я не очень-то любил озорничать. То ли не оказалось этого, заложенного природой во многих представителях мужского пола инстинкта, то ли родители воспитали не так, как многих. Впрочем, послушным я не был, но и в разных проказах почти не участвовал. А когда нескольких моих друзей отправили на зону для несовершеннолетних – так называемую «малолетку» – за разорение дач (именно разорение: били стекла, банки с соленьями в подполах, ломали мебель), большую часть времени стал проводить дома. В кабинете. Отец же в избушке сколотил себе большой, чуть покаты́й стол, но почти не писал – силы и время уходили на грядки, на кроликов, на, как я понял позже, не кончающиеся дела по хозяйству. Жизнь в доме на земле, даже если дом вполне благоустроенный, совсем не та, что жизнь в квартире. Земля сама вытаскивает из дома: нет грядок, заботься хотя бы о газоне, подмети, приберй, подкрась.

Хм, да и какие газоны на участках у простых русских людей? Я же говорил: новые соседи хотели эти самые газоны, а получились грядки...

С детства я знал, что в Кызыле не буду жить. После школы сразу уеду. И цель была – Ленинград. Опять же с детства я им буквально бредил и грезил. Собирал фотографии, репродукции картин с видами города, не мог оторваться от фильмов, где действие происходит в Ленинграде или императорском Санкт-Петербурге. Любил заочно, а потом и увидев, потрогав, и Дворцовую площадь, и слепые дворцы-колодцы. Учил наизусть не те стихи, какие задавали на уроках литературы, а те что были о городе моей мечты.

Да, я люблю его, громадный, гордый град,
Но не за то, за что другие...

Лет в тринадцать я узнал о ленинградском роке. Стал искать в нашем, находящемся в стороне от всего нового, закрытом от большого мира хребтами Саянских гор Кызыле записи этого самого рока. Кое-что находил, в том числе, как узнал потом, раритеты вроде альбома «Все братья – сестры». И когда никого не было в квартире, я вместе с Гребенщиковым задумчиво-печально тянул: «Но пески Петербурга заносят нас и следы наших древних рук...» Или на пару с Цоем радостно-звонко сообщал стенам, книгам, шифоньеру, своему прыгающему в зеркале отражению: «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра-а!»

На летних каникулах, да и на осенних с весенними, школа часто устраивала поездки куда-нибудь. Не бесплатно, конечно, но со скидками. То в Шушенское, которое от Кызыла в трех сотнях километров, собирали группы, то в Алма-Ату, в Иркутск, в Ленинград. Я просил у родителей в Ленинград, подкапливал деньги. Зачем мне Алма-Ата, зачем Иркутск, зачем в очередной раз в Шушенское, если есть Ленинград?..

Я застал еще открытый «Сайгон», толкущихся (слово «тусующихся» тогда не знал) возле него хиппи, панков, прочих неформалов; ходил на концерты в рок-клуб, просто гулял по городу один, а не в стаде экскурсантов. Сопровождавшие нас учительницы потом жаловались родителям: совсем никакой дисциплины!..

После десятого класса (а теперь надо уточнять, что до восьмидесяти девятого года включительно была десятилетка) я провалил первый же экзамен в Новосибирский университет – уже и не помню, на какой факультет по настоянию родителей поступал, – и уехал в Ленинград учиться на штукатура-облицовщика-плиточника. Через три с половиной месяца загремел в армию. В декабре девяносто первого дембельнулся и приехал домой. Тогда было уже не до города мечты – рушились не только мечты, но и сама реальность.

Вообще-то всё это я уже описал и в книге «Нубук», и в книге «Лед под ногами», и в «Дожде в Париже», в десятках рассказов и повестей... Я писал для того, чтобы воспоминания стали не такими острыми, потери и ошибки не такими болезненными. И это помогало. До недавних пор. Потом те воспоминания, что, казалось, были надежно заключены в коробки книг, оформлены и упорядочены, стали вырываться, коробки лопаться. И нужно опять перебирать воспоминания, переоценивать.

В восемьдесят девятом другая страна, но правопреемницей которой стала наша (и та была наша, а теперь многие куски ее нам, оказавшим-

ся жителями правопреемницы, недоступны, от нас наглухо отгородились), уже потрескивала. Еще не очень пугающе. Потрескивала и Тува. Как камень-желвак, который долго разогревается, накаляется в костре, а потом взрывается так, что всё костровище – в разные стороны.

В сентябре я уезжал из одного Кызыла, а через два года и два с половиной месяца приехал в другой.

В общем, до отъезда в Ленинград я был уверен, что жил в городе хотя и с тюркским названием, окруженном азиатскими голыми горами, но по языку русском, а по культуре советском со слабой примесью тувинского колорита...

Мама, прочитав мою книгу «Дождь в Париже», где в основном о Кызыле, а не о Париже, похвалила, сказала, что многое очень точно описано, что поплакала над некоторыми эпизодами, а потом сделала важное замечание: «Плохо, что тувинцев у тебя нет совсем. Только упоминаются». Я, помню, согласился: да, это ошибка, и, может, если будет переиздание, дополню, впишу. А потом, поворошив в памяти тогдашнюю – в восьмидесятые, да и в начале девяностых – жизнь свою и своего круга, увидел: а тувинцев-то в нашем круге, в общем-то, и не было.

Вскоре после издания «Дождя...», осенью восемнадцатого, мы с женой уехали в Таллин. Ей предложили там работу. И я увидел: в Таллине многие русские живут отдельно от эстонцев. У них свои магазины, свои ресторанчики, свои парикмахерские (кстати, очень похожие на парикмахерские позднего советского времени), свой театр, свой литературный журнал, свои культурные мероприятия, свое телевидение, с куда большими советскими традициями, чем наше, российское... В общем, свой маленький русский мир у тамошних, часто говорящих с некоторым акцентом, давным-давно не бывавших в России, русских. Я вот ни слова (кроме воспетого Довлатовым «тере») не знал по-эстонски и ни капли этим не тяготился. А есть местные русские уроженцы, которые и без этого «тере» спокойно там живут, работают. Может, из-за этой слишком спокойной, удобной, а значит скучной жизни мы через полгода и вернулись в Россию.

Впрочем, сохранилось ли это «спокойно» теперь, когда Эстония рвет все связи с Россией?

В российских СМИ сообщают, что после двадцать четвертого февраля отношение к русским там изменилось. Но вопрос: к каким? Наверное, к России, а не собственно к русским. Русских-то туда за эти месяцы въехало полно – и из России, и из Украины. И украинцев, которые умеют разговаривать только по-русски. Да, российские телеканалы в Эстонии отключили, а как в бытовом плане? Всё собираюсь написать тамошним знакомым и никак не соберусь. Да и как спрашивать? «Притесняют вас эстонцы?» И вряд ли местные всё мне расскажут в соцсетях...

Да, свой круг, свои круги... Не так давно я прочитал новую вещь Андрея Волоса под названием «Мешалда». Вряд ли это роман в чистом виде, да и книгой «Мешалда» пока не стала – опубликована в журнале.

С Андреем Германовичем мы давно знакомы, выпивали вместе не раз, разговаривали, бывали вместе в поездках по России и за рубеж; бродили по Пекину, например... Объединяет нас то, что мы родом из национальных республик. Он из союзной, а я из автономной.

Волос родился и вырос в Душанбе – столице Таджикистана. Вернее, Таджикской ССР. И в «Мешалде» много воспоминаний... нет, точнее, тоже анализ прошлого... В общем, то, чем я пытаюсь заниматься сейчас... Я даже скопировал фрагмент, процитировал в своей рецензии

на эту вещь. Вот она, эта цитата, в ноутбуке на журнальном столике возле дивана.

...Позже нашу улицу переименовали, она стала улицей Бехзод. На первый взгляд хрен редьки не слаще. Но все же улица Бехзод была еще хуже улицы Лумумбы, потому что если в связи с Лумумбой у меня возникали ассоциации хотя бы народно-освободительного толка, то новое название не вызывало их вовсе. Мама говорила, что улица названа в честь какого-то таджикского художника. Мама всегда все откуда-то знала, а папа не знал, но мог залезть в энциклопедию и уже тогда бы знал, но я не уверен, что название улицы было достаточным поводом для наведения справок.

Что же касается нашего круга вообще, то в нем и вовсе никому не было дела до таких мелочей: мы жили в русском городе, ничто таджикское нас не интересовало, даже конголезское слово вызывало у нас больший интерес, нежели таджикское. И что Кемаль-ад-Дин Бехзад – персидский художник-миниатюрист пятнадцатого века, и что улица Бехзод – потому что таджикский язык окающий, я узнал позже.

Мне казалось, мы живем в русском городе, но на самом деле, конечно, русским был не город, а наш круг.

При этом – парадокс! – и сам наш русский круг был не совсем русским. Русские составляли в нем подавляющее большинство, это так. Но сюда же входили и татары, и лезгины, и якуты, и табасаранцы, и вообще кто угодно. Я бы не удивился, обнаружив в нашем кругу хоть бы даже чернокожих. Хоть бы того же Патриса Лумумбу.

Лишь таджиков в нем не могло оказаться.

Наш круг был не столько «русским», сколько «не таджикским».

Понятно, что таджики платили нам той же монетой и не худшей чеканки. В их собственном кругу все знакомы, каждого можно окликнуть. Всё свое, родное. А там – там какая-то плотная, вязкая каша: это они, русские.

Стоя на берегу, человек догадывается, что глубины моря полны жизни. Но у него нет и мысли породниться с ней – чужой и, вероятно, опасной.

Между нами не было любви, но и ненависти не стояло.

Ну вот так же и мы жили – раздельно. У меня в школьные годы был один приятель-тувинец – Артур Оксур, да и то потому, что мы с ним до восьмого класса учились вместе. Среди приятелей моих родителей тувинцев не помню. Коллег – да, но чтобы собирались за столом, вместе отмечали праздники – нет.

Но и раздельность, как оказалось, была зыбкая.

Пришло время, камень-желвак взорвался

Когда я вернулся в Кызыл в конце девяносто первого – русского круга там не увидел. Он распался, раздробился, осколки прятались по домам. За два года моего отсутствия произошло грандиозное: то, что теперь называют русским миром, почти исчезло. И дальше год за годом остатки его вымывались и вымывались. Теперь Тува в полной мере мононациональный регион. Несколько процентов нетитульных – так называемая статистическая погрешность.

Кто-то пожмет плечами и скажет: «Ну и в чем проблема? В Туве должны жить тувинцы. Логично?» Логично-то логично, но речь о моей родине, о пресловутых могилах предков: прадеда и прабабушки, бабушки, бабушкиных братьев и сестер, моих дядь и тетя, двоюродных, троюродных братьев. Пока остались еще те, кто следит за могилами, но скоро и они или умрут, или уедут.